

Александр Пушкин

Стихи не для дам

Стыдливость угрюмых дураков

Несколько слов к читателям

Составляя эту книгу, я снова перечитал пушкинское «Опровержение на критики» и в который раз уже подивился элегантной иронии его ответов благовоспитанным ханжам и записным ревнителям нравственности, упрекавшим поэта в непристойности иных его сочинений.

Не могу отказать в удовольствии себе и, надеюсь, читателям, привести весьма уместные, на мой взгляд, фрагменты «Опровержения...», ибо как это ни прискорбно, но и сегодня могут найтись суровые охранители наших моральных устоев, кои углядят «похабство» в строках, собранных под обложкой этого сборника.

«Граф Нулин» наделал мне больших хлопот. Нашли его (с позволения сказать) похабным, — разумеется в журналах, в свете приняли его благосклонно, и никто из журналистов не захотел за него заступиться. Молодой человек ночью осмелился войти в спальню молодой женщины и

получил от нее пощёчину! Какой ужас! как сметь писать такие отвратительные гадости?.. Верю стыдливости моих критиков; верю, что «Граф Нулин» точно кажется им предосудительным. Но как же упоминать о древних, когда дело идет о благопристойности? И ужели творцы шутливых повестей Ариост, Бокаччио, Лафонтен, Каста, Спенсер, Чаусер, Виланд, Байрон известны им по одним лишь именам? ужели, по крайней мере, не читали они Богдановича и Дмитриева? Какой несчастный педант осмелится укорить «Душеньку» в безнравственности и неблагопристойности? Какой угрюмый дурак станет важно осуждать «Модную жену», сей прелестный образец легкого и шутливого рассказа? А эротические стихотворения Державина, невинного, великого Державина?» Изрядно сказано! Пушкинская лоза оставила заметные следы на той части тела его критиков, где спина теряет свое благородное название. Однако не всем этот урок пошел впрок, хотя и был куда как предметен. Пушкин, видимо, хотел раз и навсегда объясниться с современными Тартюфами от критики, «стыдливо накидывающими платок на открытую грудь Дорины», чтобы больше не отвлекаться на перебранку с ними. Потому был не только саркастичен, но и предельно серьезен, доказателен, точен в своих суждениях. Нет, не «Графа Нулина» защищал он, не поэтический свой

мундир. Он защищал, отстаивал и утверждал право поэта на свободу говорить о том и так, как он считает нужным, без поправок на чьи-то вкусы, желания, принципы. Послушаем же его снова.

«Безнравственное сочинение есть то, коего целью или действием бывает потрясение правил, на коих основано счастье общественное или человеческое достоинство. — Стихотворения, коих цель горячить воображение любострастными описаниями, унижают поэзию, превращая ее божественный нектар в воспалительный состав, а музу в отвратительную Канидию. Но шутка, вдохновенная сердечной веселостию и минутной игрою воображения, может показаться безнравственною только тем, которые о нравственности имеют детское или темное понятие, смешивая ее с нравоучением, и видят в литературе одно педагогическое занятие».

Блистательный пассаж! По мысли, по лаконизму выражения большой и важной мысли. Это — Пушкин. Таков он в каждой строке, в каждой заметке, в каждом фрагменте... Вернемся к нему снова, ибо не все в «Опровержении...» адресовано только критикам. Прямо и откровенно говорит он и о себе.

«Кстати: начал я писать с 13-летнего возраста и печатать почти с того же времени. Многие желали бы я уничтожить, как недостойное даже и моего дарования, каково бы оно ни было. Иное тяготеет, как упрек, на совести моей...»

Не станем гадать, какие именно сочинения имел в виду поэт: не назвал; стало быть, не считал нужным. Обратимся к тому, что им самим в качестве примера названо. Упрекая некоего публикатора за самовольное использование его стихов, он гневно протестует против того, чтобы современные ему литературные пираты печатали произведения, «преданные мною забвению или написанные не для печати (например, «Она мила, скажу меж нами»), или которые простительно мне было писать на 19 году, но непростительно признать публично в возрасте более зрелом и степенном (например, «Послание к Юрьеву»)».

В этом месте скажем «Стоп!» и порассуждаем немного вместе с читателем, дабы потом не возникло у него вопросов и претензий к составителю этого не совсем обычного сборника.

Внимательно перелистав книжку, вы найдете в ее оглавлении указанные выше произведения и многие другие, которые сам Пушкин отнес к разряду написанных не для печати. На каком основании включены они в сей сборник? Прежде

всего на том, что уже более ста лет стихотворения сии воспроизводятся не только в академических Собраниях сочинений Александра Сергеевича Пушкина, но и в массовых изданиях. И ввели их в круг нашего чтения не какие-то там мазурики, желающие заработать на «клубничке», хотя бы и пушкинской, а блистательные исследователи его творчества, люди высоконравственные, истинно интеллигентные, носящие самые высокие ученые звания. Словом, те русские пушкинисты, которыми по праву гордится наша культура.

Разумеется, в букварях и хрестоматиях «нескромных» стихотворений этих вы не найдете. Им там и не положено быть. Но право на жизнь они имеют. Подтвердим это еще раз ссылкой опять же на Пушкина, который, отвечая на упреки критиков в безнравственности, коя грозит развращением их пятнадцатилетним племянницам, весело возражал: «... как будто литература и существует только для 16-летних девушек! Вероятно, благоразумный наставник не дает в руки ни им, ни даже их братцам полных собраний сочинений ни единого классического поэта, особенно древнего. На то издаются хрестоматии, выбранные места и тому под. Но публика не 15-летняя девица и не 13-летний мальчик».

Думаю, что не стоит приводить других аргументов в защиту этого сборника. Стоит только,

пожалуй, сослаться на еще одно авторитетное имя и процитировать несколько строк из Белинского.

«Для Пушкина не было так называемой низкой природы; поэтому он не затруднялся никаким сравнением, никаким предметом, брал первый попавшийся под руку, и все у него являлось поэтическим, а потому прекрасным и благородным».

Однако же в отношениях Пушкина с критикой и особенно с цензурой не все было так просто и весело, как может показаться из сказанного выше. Огромное число неопубликованных при жизни поэта произведений объясняется не только и не столько тем, что они не предназначались им для печати, сколько тем, что угрюмые дураки не позволяли «осквернять» ими «типографические снаряды».

История взаимоотношения Пушкина с цензурой — история трагическая. Она достаточно глубоко изучена и широко известна для того, чтобы о ней можно было сказать именно так. В ней — десятки, если не сотни искромсанных, искореженных, запрещенных к публикации сочинений, коими могла бы гордиться даже самая богатая литература. От Пушкина в нашей словесности пошло много традиций. В том числе и

печальная — писание в стол, рожденная нежеланием подвергать вивисекции родных «детей» своих, кои после прикосновения цензорского ножа теряли всякое сходство с родителем.

Поэта «оберегали» нетолько политически, но и нравственно. Позволяли верноподданным сочинителям любую пошлость, а у него выскребали со сладострастным усердием даже намеки на какие бы то ни было «вольности».

Может потому с такой радостью и воспринял он вначале царскую милость, последовавшую за освобождением из михайловской ссылки. Николай, великодушно простивший поэта за прежние прегрешения, сказал ему: «Теперь, Пушкин, твоим цензором буду я».

Радость оказалась недолгой. К цензуре обычной, к бдительному оку Бенкендорфа добавился зоркий глаз императора, который, надо отдать ему должное, был весьма заинтересованным и пристрастным читателем. Он твердо стоял на страже морали и «хорошего вкуса». Вот один лишь пример монаршей редакции из соображений нравственных. Пушкинская строчка «Урыльник полон под кроватью» после прочтения ее царем выглядела так: «Будильник полон под кроватью». Поэт, узнав об этом, посмеялся. Но это был грустный смех.

Ибо не трудно представить, сколь далеко простиралась власть николаевского карандаша. Она омертвляла, сушила буйную поросль сочных, полных блеска и озорства творений — от могучих эпических поэм до экспромтом сочиненных эпиграмм. В них все было естественно — и блистательная рифма, и поражающий точностью и глубиной образ, и острое словцо, говоря современным языком, на грани фола, а порой — и за гранью. Но кто провел ее — эту грань?! Кто определил пределы дозволенного?

Ответ на эти вопросы — у него же, у Пушкина: художника надо судить по законам, им самим над собой признанным.

И уж конечно не царю, не его холопьям в мундирах цензурного ведомства было судить о нравственности и приличиях в творениях национального гения. Однако, они судили — скоро и неправо, требовали изменений, запрещали.

Мы знаем, что иные сочинения, могущие задеть взыскательного читателя, Пушкин и сам не публиковал и публиковать не предполагал. Они предназначались для дружеского застолья или озорного послания товарищу. Были у него и, как нынче говорится, крутые стихи, явно не предназначенные для нежных дамских ушек.

К этому разряду можно отнести многие произведения, включенные в данную книгу. Иные

из них давно уже стали антологическими и на слуху у каждого, кто любит поэзию. Некоторые же до сих пор по явному недоразумению числятся среди «неприличных». И чаще всего потому лишь, что их лексика претупает грани дозволенного. История публикации иных весьма забавна. Вот один лишь пример.

С детских лет известно нам стихотворение, рисующее очаровательную картину летнего сельского утра. С этими строками из «Родной речи» «вселяется в наши души музыка русского языка:

Румяной зарею Покрылся восток,
В селе за рекою Потух огонек.
Росой окропились Цветы на полях,
Стада пробудились На мягких лугах.

Прелестное детское стихотворение. Но, повзрослев, мы прочли «Вишню», откуда взяты эти строки, и были поражены разностью двух сочинений. Второе, полное, справедливо так и не попало в буквари. Но оно не безнравственно, не похабно. Оно полно целомудрия. И прятать его в собраниях сочинений — неразумно.

Но бог с ней, с «Вишней». Ее действительно не стоит печатать в букварях полностью, ибо трудно объяснить детям, почему пастухи и пастушки уже в те далекие времена часто

отвлекались от своих прямых обязанностей, в результате чего скот мог потравить барские посевы. Важнее вообще отказаться отделения произведений великого поэта по пуританским критериям. Даже в массовых изданиях. У него — все рядом. И высокое и низкое. Откройте один из академических томиков его сочинений. К возмущению ханжей рядом с гениальным «Памятником» обнаружится ерническое, развеселое «К кастрату раз пришел скрипач...» Стало быть, писались они друг за другом. А может — и параллельно. И то и другое занимали ум и сердце поэта, составив одну из страничек его послания к нам. Послания, в котором он завещает не пыжиться, не изображать из себя таких гигантов мысли, высоконравственных снобов. Ведь это же он, Пушкин, сказал, отвечая на очень умное, блестящее, но холодное сочинение своего собрата: поэзия, прости Господи, должна быть глуповата. Ведь это же он заметил уже зрелым человеком: «Однообразность в писателе доказывает односторонность ума, может быть и глубокомысленного».

Ему самому такой перекосяк не грозил. Моцартианская грациозность сочеталась у него с шекспировской трагедийностью. «Стоит только приподнять пелену грации Пушкина, и можно увидеть глубины, предрекающие дальнейшую русскую литературу: «Моцарт и Сальери», «Пир во

время чумы», со своей раздирающей песнью председателя, некоторые сцены «Бориса Годунова», некоторые лирические порывы в «Евгении Онегине», загадочный «Медный всадник» и многое другое, — все это какой-то широкий океан, какие-то жуткие провалы и виды на такие вершины, куда только-только хватило бы донестись крыльям Данте и Шекспира» (Луначарский). У Пушкина — все значимо и значительно. И само по себе, и в единстве, в нерасторжимости всех ипостасей его гения.

В этой книге впервые собрано под одной обложкой то, что обычно публикуется отдельно — по хронологии или жанрам. В ряде случаев в канонические тексты внесено то, что было изъято цензурой по соображениям нравственности, как, скажем, в поэмах «Царь Никита и сорок его дочерей» и «Монах». Известно, как трудно было протискиваться «сквозь нашу тесную цензуру». В некоторых стихах и эпиграммах, вошедших в эту книгу, восстановлены строки и слова, которые давным-давно известны любителям пушкинской лиры, несмотря на все стыдливые многоточия, однако никаких источников реставрации текстов, кроме самого Пушкина, составитель этого сборника не использовал. Он позволил себе максимально раздвинуть границы допустимого, руководствуясь собственными принципами и соображениями Белинского о том, что не все, что ласкает слух

гусара, услаждает уши дамам. И это нормально. Ибо, как известно, дамы сильно от нас отличаются. Они не носят усов, умереннее в крепких напитках (по крайней мере, так было прежде) и соленому словцу предпочитают посыпанные сахарной пудрой эвфемизмы.

А дабы еще больше укрепиться в правомочности затеянного издания и возможности дать ему такой категорический заголовок, я тщательно перелистал особо любимый мною седьмой том полного академического Собрания сочинений Александра Сергеевича Пушкина. В этом томе собрана его критика и публицистика — заметки, наброски и прочая «мелочишка», от которой и сегодня захватывает дух. На странице 54 было обнаружено искомое:

«Жалуются на равнодушие русских женщин к нашей поэзии, полагая тому причину незнание отечественного языка: но какая же дама не поймет стихов Жуковского, Вяземского или Баратынского? Дело в том, что женщины везде те же. Природа, одарив их тонким умом и чувствительностью самой раздражительною, едва ли не отказала им в чувстве изящного. Поэзия скользит по слуху их, не достигая души; они бесчувственны к ее гармонии: примечайте, как они поют модные романсы, как искажают стихи самые естественные, расстроивают меру,

уничтожают рифму. Вслушайтесь в их литературные суждения, и вы удивитесь кривизне и даже грубости их понятия. Исключения редки».

По-моему, излишне сурово и категорично. Но это — Пушкин. И кто откажет в исключительном знании и понимании женской души человеку, написавшему Татьяну?

Но, честно говоря, я привел пространную цитату вовсе не в качестве шита от возможных стрел критики, которая может учуять уже в самом названии этого сборника тлетворный «рыночный душок», желание и классиков приспособить к своим мелочным предприятиям — безнравственным и непристойным. Как учил сам Александр Сергеевич, отвечать на критику — занятие праздное. Издание же это имеет одну цель: дать концентрированно «озорного» Пушкина. И тот, кто надеется найти под этой обложкой «клубничку» — будет разочарован.

Из всех возможных ягод, как уже было сказано, здесь — только «Вишня». Ну а ежели, вопреки предупреждению, книжка сия попадет в руки даме, не спешите бросать ее в огонь. Честное слово, она не поранит чувствительные ваши ушки. Разве что мочки их слегка порозовеют. Но это — вполне допустимо. Не правда ли?

Поэмы

Гавриилиада¹

¹ Написанная Пушкиным в 1821 году, поэма эта до сих пор остается одной из самых читаемых и популярных среди сочинений поэта. Однако уже современники Пушкина воспринимали ее не однозначно. Одни считали «Гавриилиаду» озорной шуткой, «прекрасной шалостью» (Вяземский), другие видели в ней прежде всего политический протест против самодержавия, использовавшего в борьбе со свободомыслием религию и мистику. В этом сочинении молодого гения есть и то, и другое.

Известно, что поэма могла сыграть зловещую роль в судьбе поэта. В 1828 году этот пародийно переосмысленный евангельский рассказ о деве Марии был передан в списке петербургскому митрополиту. Против Пушкина возбудили нешуточное дело, вменявшее ему в вину богохульство, оскорбление религии, что могло закончиться новой ссылкой. Однако произошло загадочное объяснение с царем, в результате которого с поэта были сняты подозрения в авторстве «богомерзкого» творения, на чем он настаивал, давая объяснения церковникам. Как, впрочем, и друзьям. Тут можно вспомнить строчки из письма к Вяземскому: «Ты зовешь меня в Пензу, а того и гляди, что я поеду далее, Прямо, прямо на восток.

Мне навязалась на шею преглупая шутка. До правительства дошла наконец «Гавриилиада»; приписывает ее мне; донесли на меня, и я, вероятно, отвечу за чужие проказы, если кн. Дмитрий Горчаков не явится с того света отстаивать свои права на свою собственность».

Пушкин писал это, отводя беду, ибо знал, что его письма по

Воистину еврейки молодой
Мне дорого душевное спасенье.
Приди ко мне, прелестный ангел мой,
И мирное прими благословенье.
Спасти хочу земную красоту!
Любезных уст улыбкою довольный,
Царю небес и господу Христу
Пою стихи на лире богомольной.
Смиранных струн, быть может, наконец
Ее пленят церковные напевы,
И дух святой сойдет на сердце девы;
Властитель он и мыслей и сердец.

Шестнадцать лет, невинное смиренье,
Бровь темная, двух девственных холмов
Под полотном упругое движенье,
Нога любви, жемчужный ряд зубов...
Зачем же ты, еврейка, улыбнулась,
И по лицу румянец пробежал?
Нет, милая, ты право обманулась:
Я не тебя, — Марию описал.

указанию Бенкендорфа читает полиция. Потому и приписывал авторство «Гавриилиады» почившему в бозе сатирику князю Горчакову: с покойника спрос не велик. Не трудно представить, как реагировал на письмо друга Петр Андреевич Вяземский: ведь именно у него с 1822 года надежно хранился пушкинский автограф «непристойной» поэмы.

В глуши полей, вдали Ерусалима,
Вдали забав и юных волокит
(Которых бес для гибели хранит),
Красавица, никем еще не зрима,
Без прихотей вела спокойный век.
Ее супруг, почтенный человек,
Седой старик, плохой столяр и плотник,
В селенье был единственный работник.

И день и ночь, имея много дел
То с уровнем, то с верною пилою,
То с топором, не много он смотрел
На прелести, которыми владел,
И тайный цвет, которому судьбою
Назначена была иная честь,
На стебельке не смел еще процвести.
Ленивый муж своею старой лейкой
В час утренний не орошал его;
Он как отец с невинной жил еврейкой,
Ее кормил — и больше ничего.

Но, братие, с небес во время оно
Всевышний бог склонил приветный взор
На стройный стан, на девственное лоно
Рабы своей — и, чувствуя задор,
Он положил в премудрости глубокой
Благословить достойный вертоград.
Сей вертоград, забытый, одинокий,

Щедрою таинственных наград.

Уже поля немая ночь объемлет;
В своем углу Мария сладко дремлет.
Всевышний рек, — и деве снится сон:
Пред нею вдруг открылся небосклон
Во глубине своей необозримой;
В сиянии и славе нестерпимой
Тьмы ангелов волнуются, кипят,
Бесчисленны летают серафимы,
Струнами арф бряцают херувимы,
Архангелы в безмолвии сидят,
Главы закрыв лазурными крылами, —
И, яркими одеян облаками,
Предвечного стоит пред ними трон.
И светел вдруг очам явился он...
Все пали ниц... Умолкнул арфы звон.
Склонив главу, едва Мария дышит,
Дрожит как лист и голос бога слышит:
«Краса земных любезных дочерей,
Израиля надежда молодая!
Зову тебя, любовьию пылая,
Причастница ты славы будь моей:
Готова будь к неведомой судьбине,
Жених грядет, грядет к своей рабыне».

Вновь облаком оделся божий трон;
Восстал духов крылатый легион,

И раздались небесной арфы звуки...
Открыв уста, сложив умильно руки,
Лицу небес Мария предстоит.
Но что же так волнует и манит
Ее к себе внимательные взоры?
Кто сей в толпе придворных молодых
С нее очей не сводит голубых?
Пернатый шлем, роскошные уборы,
Сиянье крил и локонов золотых,
Высоким стан, взор томный и
стыдливый —
Все нравится Марии молчаливой.
Замечен он, один он сердцу мил!
Гордись, гордись, архангел Гавриил!
Пропало все. — Не внемля детской пени,
Да полотне так исчезают тени,
Рожденные в волшебном фонаре.

Красавица проснулась на заре
И нежилась на ложе темной лени.
Но дивный сон, но милый Гавриил
Из памяти ее не выходил.
Царя небес пленить она хотела,
Его слова приятны были ей,
И перед ним она благоговела, —
Но Гавриил казался ей милей...
Так иногда супругу генерала
Затянутый прельщает адъютант.

Что делать нам? судьба так приказала, —
Согласны в том невежда и педант.

Поговорим о странностях любви
(Другого я не смыслю разговора)
В те дни, когда от огненного взора
Мы чувствуем волнение в крови,
Когда тоска обманчивых желаний
Объемлет нас и душу тяготит,
И всюду нас преследует, томит
Предмет один и думы и страданий, —
Не правда ли? в толпе молодых друзей
Наперсника мы ищем и находим.
С ним тайный глас мучительных страстей
Наречием восторгов переводим.
Когда же мы поймали на лету
Крылатый миг небесных упоений
И к радостям на ложе наслаждений
Стыдливую склонили красоту,
Когда любви забыли мы страданье
И нечего нам более желать, —
Чтоб оживить о ней воспоминанье,
С наперсником мы любим поболтать.

И ты, господь! познал ее волненье,
И ты пылал, о боже, как и мы.
Создателю постыло все творенье,
Наскучило небесное моленье, —

Он сочинял любовные псалмы
И громко пел: «Люблю, люблю Марию,
В унынии бессмертие влачу...
Где крылия? к Марии полечу
И на груди красавицы почию!..»
И прочее... все что придумать мог, —
Творец любил восточный, пестрый слог.
Потом, призвав любимца Гавриила,
Свою любовь он прозой объяснял.
Беседы их нам церковь утаила,
Евангелист немного оплошал!
Но говорит армянское преданье,
Что царь небес, не пожалев похвал,
В Меркурии архангела избрал,
Заметья в нем и ум и дарованье, —
И вечерком к Марии подослал.
Архангелу другой хотелось чести:
Нередко он в посольствах был счастлив;
Переносить записочки да вести
Хоть выгодно, но он самолюбив.
И славы сын, намеренья сокрыв,
Стал нехотя услужливый угодник
Царю небес... а по-земному сводник.

Но, старый враг, не дремлет сатана!
Услышал он, шатаясь в белом свете,
Что бог имел еврейку на примете,
Красавицу, которая должна

Краса змии, цветов разнообразность,
Ее привет, огонь лукавых глаз
Понравились Марии в тот же час.
Чтоб усладить молодого сердца праздность,
На сатане покоя нежный взор,
С ним завела опасный разговор:
«Кто ты, змия? По льстивому напеву,
По красоте, по блеску, по глазам —
Я узнаю того, кто нашу Еву
Привлечь успел к таинственному древу
И там склонил несчастную к грехам.
Ты погубил неопытную деву,
А с нею весь адамов род и нас.
Мы в бездне бед неволью потонули.
Не стыдно ли?»
— Попы вас обманули,
И Еву я не погубил, а спас! —
«Спас! от кого?
— От бога. —
«Враг опасный!»
— Он был влюблен... —
«Послушай, берегись!»
— Он к ней пылал —
«Молчи!»
— любовью страстной,
Она была в опасности ужасной. —
«Змия, ты лжешь!»
— Ей-богу! —

«Не божись».

— Но выслушай... —

Подумала Мария:

Не хорошо в саду, наедине,

Украдкою внимать наветам змия,

И кстати ли поверить сатане?

Но царь небес меня хранит и любит,

Всевышний благ: он, верно, не погубит

Своей рабы, — за что ж? за разговор!

К тому же он не даст меня в обиду,

Да и змия скромна довольно с виду.

Какой тут грех? где зло? пустое, вздор! —

Подумала и ухо приклонила,

Забыв на час любовь и Гавриила.

Лукавый бес, надменно развернув

Гремучий хвост, согнув дугою шею,

С ветвей скользит — и падает пред нею;

Желаний огонь во грудь ее вдохнув,

Он говорит:

«С рассказом Моисея

Не соглашу рассказа моего:

Он вымыслом хотел пленить еврея,

Он важно лгал, — и слушали его.

Бог наградил в нем слог и ум покорный,

Стал Моисей известный господин,

Но я, поверь, — историк не придворный,

Не нужен мне пророка важный чин!

Хвали его, красе его дивись,
Взглянуть не смей украдкой на другого,
С архангелом тихонько молвить слово;
Вот жребий той, которую творец
Себе возьмет в подруги наконец.
И что ж потом? За скуку, за мученье,
Награда вся дьячков осиплых пенье,
Свечи, старух докучная мольба,
Да чад кадил, да образ; под алмазом,
Написанный каким-то богомазом...
Как весело! Завидная судьба!

Мне стало жаль моей прелестной Евы;
Решился я, создателю на зло,
Разрушить сон и юноши и девы.
Ты слышала, как все произошло?
Два яблока, вися на ветке дивной
(Счастливым знак, любви символ
призывный),

Открыли ей неясную мечту,
Проснулося неясное желанье:
Она свою познала красоту,
И негу чувств, и сердца трепетанье,
И юного супруга наготу!
Я видел их! любви — моей науки —
Прекрасное начало видел я.
В глухой лесок ушла чета моя...
Там быстро их блуждали взгляды, руки...

Меж милых ног супруги молодой,
Заботливый, неловкий и немой,
Адам искал восторгов упоенья,
Неистовым исполненный огнем,
Он вопрошал источник наслажденья
И, закипев душой, терялся в нем...
И, не страшась божественного гнева,
Вся в пламени, власы раскинув, Ева,
Едва, едва устами шевеля,
Лобзанием Адаму отвечала,
В слезах любви, в бесчувствии лежала
Под сенью пальм, — и юная земля
Любовников цветами покрывала.

Блаженный день! Увенчанный супруг
Жену ласкал с утра до темной ночи,
Во тьме ночной смыкал он редко очи,
Как их тогда украшен был досуг!
Ты знаешь: бог, утечи прерывая,
Чету мою лишил навеки рая.
Он их изгнал из милой стороны,
Где без трудов они так долго жили
И дни свои невинно проводили
В объятиях ленивой тишины.
Но им открыл я тайну сладострастья
И младости веселые права,
Томленье чувств, восторги, слезы счастья.
И поцелуй, и нежные слова.